

Александр Телегин

Большая комета 1997 года.

Повести трёх стариков



Александр Телегин
Большая комета 1997 года.
Повести трёх стариков

<https://litres.ru/74368188>

SelfPub; 2026

Аннотация

1997 год. В небе сияет комета Хейла-Боппа или Большая комета 1997 года. Три пожилых человека собираются под её роскошным хвостом, выпивают по 170 граммов на брата и вспоминают почти что прожитую жизнь, порой счастливую, порой трагическую.

Содержание

1	4
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Александр Телегин

Большая комета 1997 года.

Повести трёх стариков

1

Весна в этом году была ранняя, пришла и, как Ельцин коммунистов, махом переборола зиму. В самом начале апреля сошёл снег, высохли дороги, и дни пошли один другого теплее; наконец, стало жарко, зазеленела трава, а деревья, хотя ещё не распустились, но, видно было, уже налились живой, упругой силой, готовой вот-вот прорваться.

Наступил по-летнему тёплый вечер. Солнце село. Закат горел спокойно и неярко. В его красках преобладали оранжевая и лимонная. Небо над ним было светло и прозрачно, и только к востоку начинала сгущаться синева.

В воздухе стоял такой хмельной запах весеннего дыма, клейких почек, молодой травы и сырой земли, что жить было желанно и радостно до слёз.

— Хорошо-то как! — вздохнул, проходя в калитку школьного двора, сухонький старичок Антон Иванович¹, прихрамывающий, с ввалившимся ртом, одетый в куртку гряз-

¹ Все имена, как и события, вымышлены и совпадения случайны.

но-жёлтого цвета, с оторванным наполовину правым карманом.

— Да, вечер чудный, — согласился шедший за ним рядом бывший преподаватель физики и математики Валентин Васильевич.

Он был моложе Антона Ивановича, но седой до белизны. В чистом, белом, правда, чуть помятом лице светились ум и хорошее воспитание. И одет Валентин Васильевич был лучше — в хороший серый костюм и светлую рубашку.

— Дымом-то как пахнет, а! Прекрасное, необыкновенное время — весна! Никто не любит её так, как учитель. Время волнений, годовых контрольных. Зелёный школьный двор, линейка, последний звонок, выпускные экзамены! — на ясные серые глаза бывшего физика навернулись слёзы.

— Э-э, милый человек, а разве крестьянин не любит весну! — возразил Антон Иванович. — Ты знаешь, как это великолепно целый день поработать в поле под весенним солнцем, надышаться запахами земли, послушаться божьих птиц и радоваться вместе с ними чудесному светлому миру. А какие у крестьянина чувства в груди перед началом посевной! Ни одному поэту не удалось их выразить!

Подошли к кирпичному двухэтажному зданию школы, в окнах которого отражалось закатное небо. Антон Иванович постучал в окно школьной сторожки и крикнул:

— Эй, земляк! Егор Егорович, ты живой? Проснись скорей, тут пацаны школу собрались передвигать.

Но прошло довольно много времени, прежде чем вышел заспанный Егор Егорович в коричневом пиджаке, в пыльной фуражке и сказал равнодушно:

— Нехай передвигают! Метр вправо, метр влево — разницы нету.

— Ты что, с вечера уже спишь? И за что тебе деньги платят? А, милый человек?

— За эти деньги здесь только спать, — отмахнулся сторож.

— И водку пить, — добавил, смеясь, Антон Иванович.

Егор Егорович был, конечно, пенсионер, ибо кто же, кроме пенсионеров, будет занимать место с окладом в сто тысяч², которые к тому же задерживают по четыре месяца. Был он мужик худой, со скуластым лицом, обтянутым смуглой сухой кожей, выдубленной солнцем и ветром. Бросались в глаза тёмные корявые руки много поработавшего за жизнь человека.

— Ну а вы что ходите, два друга? — начал Егор Егорович и, вытащив из кармана районную газету, оторвал от неё уголок. — Что вам дома не сидится? — Достав из другого кармана мешочек с табаком, он занялся изготовлением самкрутки.

— Да вот, Антон Иванович сказал: вечер хороший, погода чудесная, не охота домой. Пойдём в школу, посидим с Егором Егоровичем.

² События происходили до деноминации.

— Он прав, погода хорошая. Я, сколько себя помню, такого тёплого апреля у нас никогда не было.

— Нет, Егор Егорович, ты вспомни, когда Гагарин в космос полетел, апрель был такой же тёплый. Счастливое, неповторимое время! Приехали из района: «Человек в космосе!» Мало кто понял, что это значит, но такая радость всех охватила. Вышли на митинг. Синее небо, белые облака, праздничное солнце, тепло, вокруг счастливые дети ...

— Ты прав, когда Гагарин полетел, было тепло, я не спорю, но потом похолодало. На Первое мая я с утра ходил в рубашке, а ночью пошёл дождь со снегом, разыгрался буран, и ударил мороз. Помнишь, Антон Иванович, тогда ещё в Сталинске пастух замёрз.

— Ну, это ты сморозил! Пастух замёрз не в шестьдесят первом, а в пятьдесят седьмом году. Я точно помню. И не Первое мая было, а Девятое. Сеять тогда начинали рано, и на Девятое мая мы почти половину площадей засеяли. Вечером в бригадном вагончике кто-то не закрыл окно, так утром на полу лежал сугроб. Что ты! Это я как сейчас вижу.

— Я с тобой, Антон Иванович, спорить не стану, но это было в шестьдесят первом году. Я в Сталинске жил, работал трактористом, и сам ездил его искать.

— А я работал механиком отделения. И помню, как его привезли из степи.

— А я его хорошо знал. Звали его Васька Жилин. Посёлок у нас был дружный. Все праздники отмечали вместе. Соби-

рались всем посёлком: один приносил пироги, другой холодец, третий копчёного сала — и пир горой. А Васька на гармошке играл. Если бы он умер в пятьдесят седьмом, я бы его так хорошо не запомнил.

— Это, Егор Егорович, обман чувств, — вмешался Валентин Васильевич, — бывает, двадцать лет проживёшь с человеком бок о бок, а уехал — ты и забыл его на другой день, а, бывает, год проживёшь, а, кажется, всю жизнь знал. Я-то не знал этого Васю. Что тогда случилось, как он замёрз?

— Ну как? — вместо Антона Ивановича стал рассказывать Егор Егорович. — На Первое мая он пас овец. Было жарко. Он в одном рваном пиджачке на голое тело. Стреножил лошадь, выпил самогону и уснул. Под вечер допил бутылку и отрубился. А тут ветер переменился с тёплого южного на ледяной северный, за полчаса вместо лета пришла зима. Думаю, проснулся, когда стемнело и пошёл снег. Ничего не видно, лошадь ушла. Он спяну не понял где находится, и вместо того, чтобы двинуть к Сталинску, забурился в степь. Ну и замёрз.

— Да, всё ты, милый человек, правильно рассказал, только это было не Первое мая, но, я вижу, тебя не переспоришь. Ты мне лучше другое скажи: у тебя есть что-нибудь? — сказал Антон Иванович.

— Что у меня должно быть?

— Егор Егорович, не притворяйся, ты прекрасно знаешь, о чём мы спрашиваем, — обиделся учитель.

— О чём вы спрашиваете, я не знаю, а ведро извёстки у меня есть.

— А на что нам твоя извёстка?

— Извёстка вещь хорошая. Её на что хочешь можно обменять.

— Ты хочешь сказать, она как свободно конвертируемая валюта?

— Вот-вот, — засмеялся Егор Егорович, — верно ты называл, Антон Иванович.

— А что ж ты ещё не обменял?

— Не надо было. Я от бабки десять тысяч утаил, и извёстку оставил на завтра.

— Ты у бабы Маши украл десять тысяч?! — удивился учитель.

— Украл! Что я вор что ли?! Не украл, а заначил!

— Ну извини! пусть заначил. Как же тебе удалось?

— Сам не знаю. Повезло! Первый раз в жизни.

— Так надо ж её обменять! — обрадовался Валентин Васильевич.

— Иди и меняй. Я тебе даже могу подсказать к кому идти — к Надьке Ивановой. Я у неё спрашивал.

— И что?

— Сказала: «Неси».

— Почему я должен идти? Я всё-таки учитель и вдруг пойду ночью менять извёстку на самогон, да ещё к своей бывшей ученице!

— Это ты когда-то был учитель, а сейчас такой же пенсионер как мы. Правильно, Антон Иванович?

— Конечно.

— Ну тогда пойдёмте вместе. Что я один пойду, как будто алкаш?!

Согласились, пошли втроём, но ведро с извёсткой всё-таки тащил сторож, а два приятеля шли следом и притворно сокрушались: «А потом будем говорить, что школу нечем ремонтировать. Егор Егорович, какое по счёту ведро ты пропиваешь?»

— Идите вы к чёрту, — отвечал Егор Егорович.

И во двор к Надьке пришлось всё-таки идти ему, а учитель и механик остались прогуливаться по дороге, будто ни при чём.

Через полчаса они сидели перед школой: Антон Иванович и Валентин Васильевич на маленькой скамеечке, а Егор Егорович рядышком на чурбане, который он притащил от школьной котельной.

На западе светилась только узкая полоска неба, и совсем стемнело. Стали видны звёзды, и ярче всех прямо перед их глазами выступила комета с роскошным, откинутым на восток хвостом.

Только что приняли по сто граммов, и Антон Иванович сказал блаженно:

— Ах, как хорошо! Всю жизнь, милые мои люди, мечтал увидеть комету, и вот вижу в первый раз.

— И, наверное, в последний, — сказал Егор Егорович и засмеялся.

— Нет, вы только подумайте, — горячо заговорил Валентин Васильевич, — эту комету последний раз видели в древнем Египте ещё при фараонах! А теперь видим мы. Сколько людей прошло по земле и умерло, не подозревая о её существовании, и явилась она именно нам! Ведь это чудо!

Глаза бывшего учителя вновь увлажнились, и он дохнул на друзей запахом самогона. — Послушайте, ведь мы не умеем радоваться! Красота-то какая! Счастье-то нам какое! А в следующий раз люди увидят её через три с половиной тысячи лет. Интересно, какая будет Земля, какие люди будут на ней жить? Надеюсь, они не будут сидеть вот так, как мы, и глядеть на неё, пропивая казенную извёстку.

— А может и вообще ничего не будет, — сказал Егор Егорович.

— Почему?

— Комета к войне. Я уже не раз слышал от старых людей.

— Всё может быть, — согласился Антон Иванович.

— А помните, как у Толстого в «Войне и мире»: «А высоко над городом стояла знаменитая комета 1812 года, предвещающая голод, бедствия и войну».

— Не знаю, не читал такого. Я с двенадцати лет работать пошёл, — сказал Егор Егорович.

— Да я к тому, была ли перед этой войной комета?

— Перед Великой Отечественной? Нет, милый человек,

я не видел. Не было.

— Тут ты не прав, Антон Иванович, что-то было.

— Ну, вот ты мне будешь рассказывать! Тебе сколько лет было, одиннадцать? А мне двадцать два, и память у меня — слава Богу, если б что было, я б обязательно помнил.

— Память у тебя, Антон Иванович, хорошая, я не спорю, но я тоже кое-что помню, хоть и мальчишкой был. Мы ещё жили дома, на Волге, и пошли раз с матерью к моему деду. Дед старый, с такой вот белой бородой, сидел на скамейке у ворот. А вечер был, примерно, как сегодня — такой же ясный и тёплый, и тоже в апреле, а может в начале мая. Дед говорит: «Посмотри, видишь вон ту звезду? — и в небо палкой тычет. — Я её недавно наблюдаю. Она означает, что будет война». Мать испугалась: «Молчите, отец, а то вас посадят!» А он: «Ну, ты же на меня не донесёшь и Егорка тоже, а вот посмотришь: как мы сюда голью перекатной пришли, так с сумой на плечах отсюда и отправимся». И точно: через два месяца началась война, и всех немцев с Волги выселили. Значит, была какая-то звезда, раз он говорил.

Антон Иванович пожал плечами:

— А ты сам видел её?

— Нет, я не видел. Для меня все звёзды одинаковые. Я в них ничего не понимаю.

Помолчали немного, и Егор Егорович сказал:

— А в сорок третьем году, уже здесь, в Сибири, дед умер. Отчего умер? Да кто его знает! Может от голода, может от

старости, может от горя. А может от всего вместе. И гроба ему не досталось: в старое пальто завернули и закопали. Можно сказать, как собаку, а не как человека. Отца в трудармию забрали, с тех пор ни слуху о нём, ни духу. И сейчас не знаю, где его могила, и есть ли она вообще. Мать ещё на Волге заболела, в трудармию её не взяли, здесь в колхозе мантилила. Сначала мы с ней жили на квартире у Батыгиных. Их сын Колька сейчас за речкой живёт. Как сойдёмся, как начнём вспоминать... Он — как с матерью похоронку на отца получили, я — как мы вообще ничего из трудармии от отца не получали, как в чужих людях горе мыкали, как нас глупые люди фашистами обзывали, и оба плачем. Иной раз и бутылки не хватает, чтобы печаль залить.

Прожили мы втроём у Батыгиных первую зиму, а весной вырыли землянку, обложили дёрном и стали жить. Колька и сейчас ещё спрашивает: «Скажи честно, Егор, ты ведь на нас зла не держишь? Мы же вас не обижали? А я отвечаю: «Конечно не держу! Всё помню: и как терпели от нас, чужих людей, неудобства, как мать твоя куском делились, от себя и от вас отрывая, как вы помогали нам землянку копать. Помню, помню! Всё доброе помню! Обижаться мне можно только на Гитлера, да на тех немцев, которые с ним пришли. Нет, обижаться — это неправильно, я их ненавидел, как ты, как твоя мамка, как все вокруг». Ну а что фашистами обзывались, так можно понять. Но это сначала, первые годы. А потом, как увидели, что мы такие же трудяги, как они, также горе хле-

баем полной ложкой, перестали видеть в нас фашистов.

— Не стали больше обзывать?

— Ну как?! Люди всякие: есть умные, есть глупые. Особенно дети. Поругаешься, набьёшь кому морду, он сгоряча и ляпнет: «У, фашист!» А мы в ответ: «Сам фашист!». Ладно, это я так, к слову... В сорок третьем году осенью такое горе на нас с дедом свалилось! Мать работала в колхозе на лёгких работах. А какие могут быть на уборке лёгкие работы? Поставили её топить сушилку. Я эту сушилку как сейчас вижу. Площадка, выложенная кирпичами, под ней топка. Над ней навес, крытый соломой. На горячих кирпичах рассыпают зерно и перелопачивают, пока не высохнет. Часто необмолоченную пшеницу сушили. Я сам её на конях привозил и вилами шурудил. Однажды ночью эта сушилка сгорела. Отчего сгорела? Да чёрт её знает! А кто виноват? Конечно, моя мать! Пришли за ней ночью в нашу землянку и увезли в район, в тюрьму. Суд был. Дали ей четыре года. И остались мы с дедом вдвоём. Ему восемьдесят семь, мне только что четырнадцатый пошёл. Что делать? Ухожу утром на работу, вечером возвращаюсь, он в шубе и валенках на лежанке лежит. Затоплю печку, воды вскипячу, а что ему приготовить, не знаю. Так и держал его на хлебе и воде, пока он не умер. Пришёл я однажды вечером в землянку, а он не шевелится, тронул за руку, а она холодная как лёд.

— А соседи? Неужто не помогали?

— Чем они могли помочь? Сорок третий год был самым

голодным, им бы своих детях прокормить. Что им чужой дед! Спасибо, могилу помогли выдолбить в мёрзлой земле. А мне даже легче стало одного себя кормить. Да и устал я бояться, что дед умрёт, и я один останусь

Деваться мне некуда, стал я дальше мантулить. Никому не интересно, мальчишка ты или старик. Работал наравне со всеми от темна до темна: и пахал, и косил, и стога метал. А мне тринадцать лет! Косил я однажды сено, порвал нож. Бригадир погнал меня на центральную усадьбу в мастерскую сегменты клепать, а до мастерской двенадцать километров. Шёл и всю дорогу ревел от обиды. Мать вернулась из тюрьмы после войны. Отпустили по болезни раньше срока. Пожила со мной немножко в землянке и тоже умерла. Похоронил я её, и кончилось моё детство. Да было ли оно у меня — детство. Как вспомню! — Егор Егорович махнул рукой.

— А ты и не вспоминай. Полно, Бог с ними, с тяжёлыми воспоминаниями! — сказал Валентин Васильевич. — А детство тогда, в войну, у всех неважное было, — его лицо вдруг напряглось и застыло. — Вот я говорю «не вспоминай», а как не вспоминать, когда болит?! Друзья мои дорогие, позвольте мне рассказать вам, о чём никогда никому не рассказывал. Можете ли вы себе представить, что я, учитель, отсидел целый год в тюрьме за воровство?!

— За воровство? Нет, милый человек, этого я представить никак не могу, — сказал Антон Иванович.

— Так послушайте... В сорок третьем году мне было

неполных пятнадцать лет. Работал я также как ты, Егор Егорович, в колхозе — в Ч...ском районе. Район, доложу вам, не нашему чета — глухомань, медвежий угол. Зима рано наступила — в конце октября установился санный путь, и стали мы возить зерно на элеватор. Нас было трое. Товарищи мои — такие же, как я, мальчишки. Ну, может, на полгода моложе. Ехать было далеко — километров шестьдесят. А лошадки на колхозном корме бежали не больно, да ещё с грузом. Дорога поначалу шла глухая и всё лесом. А в лесу волки. Самих-то мы ни разу не видели, а следов вдоль дороги на снегу видимо-невидимо. Должно быть, ночью они бродили, но нам, ребятишкам, всё равно ужас. Из леса выедешь, на душе вроде повеселее, но, опять же, мёрзли как собаки. Одежка на нас старая да худая, латка на латке — не вам рассказывать. Штанишки не на ремнях, а на верёвочках. Бедность жуткая! Сами жили — знаете. В общем, за день не успевали мы до элеватора доехать. А по дороге село одно было — не то Романово, не то Степаново — не помню уже. Но село большое, красивое, в бору над рекою. В том селе наш колхоз имел договор с одной женщиной, чтоб колхозники наши проезжие у неё останавливались, коней кормили и ночевали, когда надо. Платил ей, наверное, колхоз немного и сено помогал заготавливать.

— Короче, экспедиция у вас там была.

— Вот-вот, верно ты, Антон Иванович, сказал. А женщину ту звали Тамарой. Друзья мои дорогие! Какая это была

красота! Пятьдесят пять лет прошло — не видал я больше такой красоты. Вспомню — и вот она передо мной, живописным полотном, не померкшим за эти годы. Глаза у неё были синевы глубочайшей. Посмотришь — голова закружится. Волосы — спелая рожь. Как обернёт она их вокруг затылка — золотая корона! Царица! Да что! Глупое слово — царица. Нет таких слов, чтобы такую красоту выразить.

И меня она как-то выделяла. Вся засветится: «Валька приехал!» На моих приятелей — ноль внимания, всё вокруг меня: «Замёрз? Ах ты бедненький, маленький мой! Да как же таких маленьких посылают в такой мороз и ветер! Садись, садись быстрее за стол, я тебя чаем отпою». И всё, что у неё есть, передо мной поставит. А я весь замру, и на неё смотрю. Фигурка у неё лёгкая, тугая. Каждое движение красотой своей — по сердцу меня, по сердцу!

Вот и в тот раз так было — дней за десять до нового года. Необычное только ночью началось, когда легли мы спать с приятелями моими в гостевой комнате. Слышно мне: вздыхает Тамара за перегородкой. Да горько так. А потом, чудится мне, будто плачет тихонько. Перевернулось во мне всё от жалости. Может, я в тот миг и стал человеком и полюбил жизнь, в которой есть место таким чувствам, как эта моя жалость к Тамаре. А она встала и вышла потихоньку из дому. И вернулась не скоро. Вернулась, и опять вздыхает, и плачет. Как же мне хотелось пойти к ней и сделать что-нибудь героическое, лишь бы горе её, мне неизвестное, утешить. Удер-

жало меня моё стеснение. Кто я? Мальчишка. А она — женщина! Не помню уж как я заснул...

А утром она нас опять накормила, чаем напоила. Потом говорит: «Ах, Валька, как же мне жалко вас отпускать в такой холод! Дай, я хоть шапку тебе завяжу», — подошла близко и стала запахивать и подвязывать мои одёжки и всего меня, как облаком, укутала теплом и своим женским запахом. Закружилось у меня в голове, вышел я пьяный, не помню, как запрягли, как выехали. Ничего я не замечал, что вне меня делалось. Ах, друзья мои, как же сладки и красивы были мои переживания! — в глазах Валентина Васильевича вновь показались слёзы.

— Очнулся уже, когда подъезжали к элеватору. А там стали зерно сдавать — трёх мешков не хватает. «Куда дели? Украл, сукины дети?» — не успели глазом моргнуть, приёщик в милицию позвонил. приехал милиционер, опять мешки пересчитали, протокол составили. «Ладно, — милиционер говорит, — езжайте пока домой».

Ну и поехали. Вечером опять были в экспедиции. Только вместо Тамары встретил нас её сосед Никита — неприятный такой мужик, и на мой вопрос: «Где Тамара?» ответил: «Заболела. В больницу отвезли».

И ничего я больше от него не добился.

Приехали домой. Терзаюсь, что мне за мешки будет, а ещё больше из-за Тамары. Что с ней? Хоть бы глазком взглянуть. Ну и всякое я передумал за неделю. Всё вспоминал, как она

плакала и выходила ночью из дому. И всё это я связывал с её таинственной болезнью и с Никитой, который, как я подозревал, играл в этой истории злую роль. Матери я про мешки ничего не сказал, чтобы не расстраивать, да друзья-то мои своим рассказали. Прибежали их матери к моей. Покричали, поплакали, а что делать, так и не придумали. И стали с робкой надеждой ждать: авось за три мешка и не станут сыр-бор поднимать.

— Ага, тогда за три колоска десять лет давали, не то что за три мешка! — сказал Егор Егорович.

— Ну, неделя прошла — всё тихо. Собирают общее колхозное собрание. Председатель у нас золотой был мужик. «Товарищи, — говорит, — бабоньки мои родные, мальчишки да девчонки малые! Если б вы знали, какие вы героические люди! Вся держава со своими фронтами на ваши плечи оперлась. Стонете вы и кровавым потом исходите, а держите. Каждому из вас хочется мне в ножки поклониться. Нет награды, которая была бы достойна вас, но пока примите вот эти малые награды... То, что сейчас можем».

И стал он вызывать лучших доярок. Кому отрез на платье, кому шаль. А это по тем временам дорогие были подарки. И вдруг он вызывает: «Валя Тимошинин». Не верю своим ушам. Меня-то за что?! Вышел. Красный от смущения. «Вот, — говорит, — Валя, за твою хорошую работу дарит тебе колхоз рубашку». Принял я эту рубашку, стою как дурак. Думаю, поблагодарить бы надо, только глаза к двери обра-

щаются, что-то там не то... Вижу, милиционер входит. «Кто, — спрашивает, — тут Тимошинин Валентин?». — «А вот», — на меня показывают. И уже чувствую, как мир вокруг меня рушится. «А зачем он вам?» — спрашивают. — «Затем, что должен я арестовать его, да Сергея Шестова, да Ивана Медведева за хищение трёх мешков зерна». Вот и всё. Не случилось чуда. Слышу, мать моя закричала, да те две матери заголосили.

Подошел милиционер: «Ну что, поехали?» Я и свесил руки. Суд нам был короткий. Мне, как старшему, два с половиной года, а подельщикам моим — по полтора.

— О! — воскликнул Егор Егорович, — Дёшево вы отделались!

— Да, так нам и милиционер наш сказал. Да где ж дешёво, когда мы и вовсе не виноваты. Направили в колонию. А там ведь и урки были самые настоящие. Что я пережил — рассказывать не буду. Не то чтоб били меня, голодом морили или работа тяжёлая — в колхозе-то не легче, а вот моральные страдания. И всё мне кажется, что не пройдут никогда эти два с половиной года. Извёлся весь, кончилось терпение, а только месяц прошёл. Как подумаю, что ещё двадцать девять осталось — хоть вешайся. И вдруг вызывает нас начальник колонии всех троих: «Так и так: освобождаетесь. Полностью оправданы. Судимость снята». Стоим, ничего понять не можем, глазами хлопаем. «Не рады, что ли?» — спрашивает. — «Да нет, рады, только как же?» — «Да вот так. Настоя-

щие воры нашлись. И знаете кто? Женщина та, у которой вы останавливались. Сосед у неё в любовниках был, с ним она вас и обворовала». — «Не может быть», — говорю. — «Ну как не может. Она сама во всём призналась. Избил он её сильно. Похоже, из мести и выдала его, да и себя в придачу. Посадили уже обоих».

— Вот бабы! Ласкают, ласкают и тут же тебя продают.

— Знаешь, Егор Егорович, ни минуты, ни секунды так не думал. Не предавала нас Тамара — убеждён в этом так же свято, как в том, что Советский Союз был лучшей страной на свете. Много раз я за эти годы вспоминал ту ночь — не получается, чтоб Тамара была подлой. У неё совесть была! Знала бы, глаза бы отворачивала. Нет, не знала она ничего про мешки! Тут другая боль — глубокая. Трагическая любовь. Никита мешки с саней снял. Мы сами, дураки, виноваты. Когда на элеватор приехали, втроём пошли приёмщика искать, тут он и снял их. А Тамара этого не знала. А когда Никита проговорился, она его выдала, а в придачу и на себя вину взяла. Видно так уж сильно его любила. Не могла себя простить, что его на тюрьму обрекла. И нас не спасти она не могла. Подло бы это было. А она не была подлой.

— Да, милый человек! Большая это загадка, что красивые женщины влюбляются в негодаев.

— Вот именно, загадка!

— А потом что с ней стало?

— Не знаю. Известий о ней я больше не имел. Вышел я из

тюрьмы в начале сорок четвёртого. Отец вернулся, — комиссовали его по ранению. «Давай, — говорит, — Валька, в горд перебираться. Учиться тебе надо». А учиться мне страшно хотелось, новое узнавать, жизнь понимать. Ну и переехали в город. В семнадцать лет пошёл в седьмой класс вечерней школы. Потом поступил в институт. Окончил, учительствовал в нескольких школах, и потянуло сюда, на целину. Вот и получилось, что Тамара осталась в той жизни. А я, друзья мои, думаю, что так лучше. Пусть уж она до конца останется в моём сердце, как я её запомнил: «Как гений чистой красоты».

Помолчали.

— Да, — сказал один.

Другой просто вздохнул.

— Ну что ж, давайте выпьем, что ли! — предложил Антон Иванович.

— Ты прав, давайте и правда выпьем, — согласился Егор Егорович.

Они разлили то, что осталось в бутылке, и выпили.

Ночь сгущалась, воздух посвежел, но было тепло и дышалось удивительно легко. Вокруг кометы во множестве загорались другие звёзды. Антон Иванович вздохнул и произнёс тихо:

— На свете есть два чуда: звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Кто сказал?

— Не знаю, — отмахнулся Егор Егорович, — я в этом не

понимаю. А почему не понимаю — потому что мало учился. Может, если б и мой отец вернулся... А так... Мне надо было работать...

— Эммануил Кант это сказал, — перебил Антон Иванович, — был такой немецкий философ.

— Правильно, был. — согласился Егор Егорович. — А я на днях слышал по радио, что в небе появились два... Забыл как называются...

— Наверное, астероида, — подсказал учитель.

— Точно. И будто они скоро упадут на Землю, и тогда нам всем конец.

— Не бери в голову, Егор Егорович, не будет этого, — успокоил Валентин Васильевич, — в нашей Солнечной системе всё рассчитано: ты думаешь случайно Юпитер такой огромный? Пять миллиардов лет с Землёй ничего не случилось и сейчас не случится, это мне всё понятно. Я вот другому удивляюсь... — Валентин Васильевич помолчал, вздохнул и обдал друзей крепким запахом самогона. — Не знаю, как я тебе покажусь, Антон Иванович, я всё думаю: ну почему законы физики действуют всегда и везде? И притом одинаково действуют. Всю жизнь физику преподавал и не уставал этому удивляться. Если два шарика стукать друг о друга с одинаковой силой, они будут разлетаться одинаково и здесь, и в Африке, и на Антарктиде. И всегда по закону Ньютона! Разве это не удивительно? Ну почему бы им разлететься как-нибудь не так, не по закону? Ну хоть раз в жизни?

— Он замолк, и на глазах его появились слёзы, словно он обиделся на эти столь упрямые законы физики. — Как тебе, Антон Иванович, моя мысль, не слишком нелепа?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.